



ИВАНОВ-РАЗУМНИК

Анна Ахматова

1. ЖЕМАННИЦА

Всякий род подлинной поэзии имеет «право на существование», имеет свое значение, это — азбучная истина. Но вместо истины сразу появится ложь, если мы вставим только одно слово и будем говорить о равном поэтическом значении. Конечно, и жеманная поэзия Михаила Кузмина, и космическая поэзия Тютчева имеют каждая свое определенное значение в литературе, но о равном значении их (хотя бы узко-эстетическом) смешно было бы и говорить. Ибо не в степени таланта тут дело, а в его «диапазоне», во взгляде на весь мир и в способности преломить и отразить его в своей поэзии.

Почему не быть подлинной поэзии и в милом «жеманстве»? Михаил Кузмин — прекрасный поэт, с очень узким диапазоном поэтического творчества: в этом нет взаимного противоречия. Вот книга непосредственной продолжательницы Михаила Кузмина (а отчасти и А. Блока) — «Четки» Анны Ахматовой; в ней тоже очень ограниченный диапазон творчества, но подлинная поэзия игрушечного жеманства, капризной гримасы, вечной *minauderie**:

У меня есть улыбка одна.
Так. Движенье чуть видное губ, —

говорит поэтесса о себе, но это относится и к ее поэзии. Всюду одна и та же жеманная улыбка или жеманная печаль, ограниченный диапазон поэтического чувства, но несомненная поэзия.

* *minauderie* (фр.) — жеманство.

Только подлинный поэт может написать такую, например, «Песню последней встречи»:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут, слышишь, унылой
Переменчивой, злой судьбой.
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. — Умру с тобой»...

Эта песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем...

«Показалось, что много ступеней, а я знала — их только три!» — эти строки нельзя забыть, они врезаются в память, рисуя образ отягченного горем человека. «Ива на небе пустом распластала веер сквозной», — это тоже прекрасно. И такие строки не раз попадаются в «Четках» Анны Ахматовой; их не портит часто сказывающееся в них капризное жеманство, составляющее «стиль» всей этой книжки стихов.

Эту книжку портит другое — узость духовного мира и, быть может, как следствие этого — какое-то вялое равнодушие, которое поэт очень старается преодолеть. Книжку хорошо характеризует двустигшие, взятое из нее же (я изменяю только одно слово):

Я пришла сюда, жеманница,
Все равно мне, где скучать!

Поэту «Четок», действительно, — «все равно»; его ничто особенно ярко не захватывает, не волнует, не томит. И это несмотря на то, что поэт слишком часто уверяет нас, что «я томлюсь в неволе, о смерти Господа моля», «Умирая, томлюсь о бессмертии», «отравная и душная во мне тоска»... Может быть, в жизни поэта так оно и есть, но в стихах — этого нет или, вернее, этому не веришь: поэтически не убеждают эти «томления». Гораздо более веришь другому признанию:

Странно вспомнить: душа тосковала,
 Задыхалась в предсмертном бреду;
 А теперь я игрушечной стала,
 Как мой розовый друг какаду...

И опять повторяю: эта «игрушечная» жеманность — стиль всей книжки стихов; вялое равнодушие к миру и узость поэтического кругозора — оттуда же. И неоткуда взяться широте кругозора, когда значительная часть стихотворений посвящена узким переживаниям, происходящим около ресторанный столика. Правда, в стихах А. Блока мы встречаем тот же ресторанный столик, но в его стихах забываешь об этом «столике», а видишь душу поэта. К тому же слишком свободно выходит А. Блок за эти ресторанные пределы... У Анны Ахматовой — другое; правда, и она тоже хочет выйти, говоря образно, из душного подвала, где приютилось какое-то скучное *cabaret*, в котором —

Все мы бражники здесь, блудницы.
 Как невесело вместе нам!

Хотелось бы уйти, — но одного желанья мало, надо еще иметь силы. И самыми неудачными являются те стихотворения Анны Ахматовой, в которых она вспоминает, что она, к несчастью, «акмеистка», — а значит, должна быть поближе к природе, должна «слагать веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной»... Она и слагает:

Я научилась просто, мудро жить,
 Смотреть на небо и молиться Богу

 Лишь изредка прорезывает тишь
 Крик аиста, слетевшего на крышу...

Все это прекрасно, да только вот беда: «крик аиста» поэтесса не могла услышать, ибо аисты — кричать не умеют... И невольно думается, что такое стихотворение с «кричащими аистами» можно написать только насилуя себя, только фантазируя на заведомо чуждые темы. Мало — захотеть; надо еще, повторяю, иметь силы выйти на широкий простор жизни. Это пока еще не по силам Анне Ахматовой, и несомненный ее поэтический талант осужден пока возвращаться в «малом кругу». Спаситься из него — дело внутреннего преодоления, а не внешнего желанья быть тем или другим. И, во всяком случае, Анне Ахматовой нужно прежде всего это преодоление; нужно также и побольше работы над стихом (есть очень слабые), но зато поменьше мыс-

лей о «славе» (не случайно они проскальзывают несколько раз), поменьше самовлюбленности. Ибо невольную улыбку вызывают эти серьезные строки:

Ты опять, опять со мной, бессонница!
 Неподвижный лик твой узнаю.
 Что красавица, что, беззаконница?
 Разве плохо я тебе пою?

Плохо. И особенно плохо то, что явно плохая песня так нравится самому автору. Но настоящий поэтический талант — несомненен, и, быть может, он поможет поэту выйти из душного и чадного «малого круга» на широкий жизненный простор.

2. «ANNO DOMINI MCMXXI»

Десять лет прошло со времени появления первых стихотворений Анны Ахматовой; десятилетие лежит между «Четками» и «Anno Domini MCMXXI». Между ними — вышедшая в 1917 году «Белая стая». Три небольших книжки за десять лет — эта строгость поэта к самому себе радует; в трех этих книжках — большой и долгий путь: казалось, что много ступеней, а их было только три...

Какой же путь совершила Анна Ахматова за эти десять лет? (и какие десять лет!). Вышла ли она из малого круга своих переживаний на широкий простор жизни? Кроме себя — увидела ли людей? Горела ли в огненные годы, всходила ли на костры, чтобы испепелить свою душу?

Да, много требуем мы от поэта, читая стихи его в мягком кресле уютного кабинета. «Но скажи мне, на крестную муку ты другую посмеешь послать?» — вопрос риторический: еще бы нет! прекрасно посылаем, а сами можем в это время, по Достоевскому, ананасный компот есть. Так погибал за всех нас Блок...

Нет, не эти требования предъявляю я своими вопросами к поэзии Анны Ахматовой, даже никаких «требований» не «предъявляю»: что можно требовать от поэта? Его можно принять или не принять. Но спросить о свершенном им пути — можно и должно; много ли ступеней, или только три было их за десятилетие — но надо пройти их с поэтом.

Первая ступень поэзии Анны Ахматовой — «Четки», стихи 1909—1914 гг. О них я уже писал при первом их появлении; мне казалось тогда (как и теперь кажется), что любовь, печаль,

радость, боль, ревность, тоска — все это у поэта проходило в «малом кругу» пусть острых, но узких переживаний какого-то духовного «подвала Бродячей Собаки» (был такой в те годы). И не только духовного: недаром уже в «Белой стае» (1917 г.) поэт признавался: «Да, я любила их, те сборища ночные»... Что же в этом плохого? Плохо было только то, что малый круг этот отравлял душу подлинного поэта, жизнь подменял позой, жеманством, игрушечностью. Поэзия Михаила Кузмина — как рыба в воде в этом малом кругу переживаний; от Михаила Кузмина к Александру Блоку — этот путь надо было совершить поэзии Анны Ахматовой, чтобы взойти на иные ступени. Вторая ступень — «Белая стая», стихи 1914—1917 годов (к ним относится и «У самого моря»). И вот —

Судьба ли так моя переменилась,
Иль вправду кончена игра?
Где зимы те, когда я спать ложилась
В шестом часу утра?
По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу...

Да, бывшая «игра», бывшая игрушечность — кончена; по-новому звучат старые темы. Старые личные темы — любовь, ревность, тоска, боль; но ведь, казалось бы, — это как раз годы мировой бури, вихря войны. Правда, переживаниям этой новой муки посвящено несколько прекрасных стихотворений; но главная тема — все прежняя, данная жизнью еще в «Четках»: неразделенная, непроявленная любовь. Здесь подлинно «женское» — не то, о котором когда-то писала ничего не знающая о «женском» Зинаида Гиппиус, которую «кто-то обидел», ибо знает она, «что ее нет», — а то, которое делает поэзию Анны Ахматовой такой близкой, такой дорогой для каждой женщины. И если уж признаться — не потому ли за это десятилетие все же перечитывал я сухие, острые, колючие, мужские стихи Зинаиды Гиппиус не один раз, а «Четки» и «Белую стаю», тоже четкие и заостренные, — не тянуло перечитать ни разу? Уверен, впрочем, что большинство «любителей поэзии» поступало как раз наоборот. Но не в этом дело; главное, тема поэзии Анны Ахматовой вышла из малого круга игры, человеческая печаль («которой царь Давид по-царски одарил тысячелетья») сменила собою бывшие томления там, где «на стенах цветы и птицы томились по облакам». Но где же люди? Михаил Кузмин никогда их не увидит; Блок увидел их уже в «Нечаянной радости»; а Анна Ахматова? Быть может, на третьей своей ступени?

Третья ступень — «Anno Domini MCMXXI», стихи 1917—1921 годов. К слову сказать — очень плохое заглавие, в прежнем стиле манеры и позы. Ибо как прикажете читать: «Anno Domini millesimo nongentesimo vicesimo primo» (не думаю, чтобы и сам поэт твердо произнес эту кухонную латынь), или «Anno Domini тысяча девятьсот двадцать первый» (безвкусица порядочная)?.. Конечно, это пустяк; но все же?.. И если уж зашла речь о «пустяках», то вот и еще. В «Четках» — я это отмечал — слишком много было у начинающего поэта мыслей о «славе», о своей «музе», о тех прекрасных «песнях», которые она поет. Пусть «слава» — крест, но о кресте своем не говорят так часто. А в «Белой стае» и в «Anno Domini MCMXXI» — опять и опять, «путь мой жертвенный и славный»; «славы хочешь? — у меня попроси тогда совета»... И пусть это — «бесславная слава», пусть это «западня, где ни радости, ни света», пусть является эта слава только «погремушкой над ухом трещать», — но не слишком ли тешится поэт этой погремушкой? Не слишком ли часто говорит, к месту и не к месту, о своей «Музе»? Недописанную поэтессой страницу — «божественно спокойна и легка, допишет Музы смуглая рука»... Мы узнаем, что у Музы этой и «смуглые ноги», и «веселый нрав», и «еле слышный голос»; музой и славой до сих пор переполнены стихи Анны Ахматовой. Это все еще — наследие былых годов. Правда, и у Блока (редко!) прорывались едкие мысли о ненужной славе, и у него третий том стихов открывается горьким обращением к «Музе» — один раз за двадцать лет, а не двадцать раз в одно десятилетие.

Я охотно готов повиниться: обращаю внимание на «пустяки». Но что же делать, если они так режут ухо? Я верю поэту: «земная слава — как дым, не этого я просила». Не для этого хотелось ей жить, «не для страсти, не для забавы — для великой земной любви». Тема невоплощенной любви — тема и «Четок» и «Белой стаи» — остается основной и в «Anno Domini MCMXXI». По-прежнему — «горько люблю»; по-прежнему — «лохмотья сиротства я, как брачные ризы, ношу»; и все выше и выше — «убывающей любви звезда восходит для меня». Третья ступень — осознание того, что было лишь игрой на первой ступени, что было лишь полусознанным чувством на второй. Острое, тонкое, яркое выявление боли этой — поэзия Анны Ахматовой, поэзия, занимающая свое высокое, но узкое место в поэтическом ряду. До Блока — далеко, но и от Михаила Кузмина — тоже далеко.

Острое, личное, интимное, — не претворено в народное, человеческое, мировое. Оттого и годы «Anno Domini MCMXXI» — годы 1917—1921 — не жгут и не горят на искренних страницах стихов Анны Ахматовой. Как будто бы не огневой тысяча девятьсот восемнадцатый, а действительно, какой-то millesimus nongentesimus duodevicesimus... «Нам встречи нет. Мы в разных станах. Туда ль зовешь меня, наглец»... — это сказала она (и плохо, поэтически плохо сказала) не только в «Anno Domini» 1921-м, но и тремя годами ранее. А ведь тогда писалось «Двенадцать»! И годом раньше, когда загоралось мировое чудо, когда звенели все сердца всего живого в человечестве — тогда муза Анны Ахматовой, божественно спокойна и легка, писала совсем о другом: о том, что — увы! — кончились былые чудесные дни...

Теперь никто не станет слушать песен,
 Предсказанные наступили дни.
 Моя последняя, мир больше не чудесен,
 Не разрывай, мне сердца, не звени.

Нельзя от поэта требовать, чтобы он откликнулся душою на то, чего не чувствует. И не надо требовать от Анны Ахматовой откликов на мировые потрясения. Надо просто принять личную, острую, глубокую ее поэзию, вышедшую из малого круга жизни — хотя и не на широкий жизненный простор.

